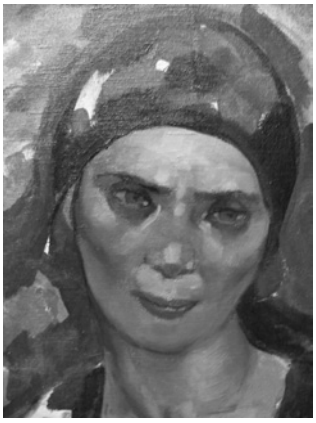
Лидия Никанорова



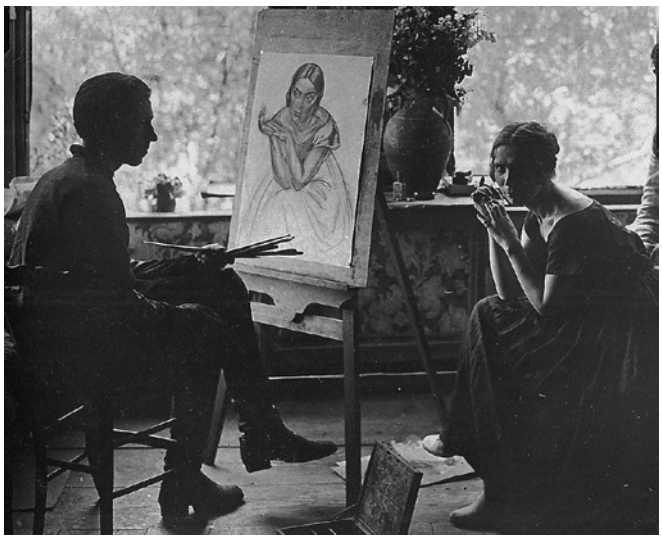
Лидия Андреевна НИКАНОРОВА *(в замужестве Артемова) (23.03.1895, по другим сведениям 1893, Брест-Литовск, Гродненской губ., ныне Брест – 01.08.1938 вилла Ланкастр, деп. Верхняя Гаронна, Франция). Живописец.*

Получила математическое образование. В 1920-м эвакуировалась из Ялты в Константинополь. Писала копии византийских фресок, в том числе в мечети Кахрие-Джами (пять копий находятся в Музее Виктории и Альберта в Лондоне). В начале 1922 года познакомилась с художником Г.К. Артемовым, женой которого стала в 1927 г.

В 1923-м по вызову Артемова выехала в Париж, участвовала (вместе с ним, а также А. Минервиным и С. Пименовым) в оформлении парижского кабаре «Кавказский погребок». С 1925 по 1929 г.г. большую часть времени проводила вместе с мужем на Корсике, где они много работали, возвращаясь ненадолго в Париж. Проживали также и в парижском пригороде Кламар, где в 1930 году купили небольшой собственный дом. Была знакома с витражистом Августом Матиссом, который поддержал ее занятия искусством. Была членом Общества русских художников во Франции. В 1930-м состоялась совместная с мужем выставка в парижской галерее R. Zivy, на которой представила акварельные пейзажи Корсики.

Умерла от рака 1 августа 1938 г. на вилле Ланкастр (60 км к юго-западу от Тулузы, деп. Верхняя Гаронна), где она гостила у французских друзей. Похоронена поблизости на кладбище в деревне Водрёй. В 1992-м мемориальная выставка Л.А. Никаноровой и Г.К. Артемова, организованная дочерью Г.К. Артемова от второго брака Мари Артемофф-Теста, состоялась в Бонифачо на Корсике. В марте 2013 г. был организован вечер памяти художников Артемовых в Доме российского зарубежья в Москве. В июле 2014 г. состоялась выставка акварелей Лидии Никаноровой, организованная мэрией и туристическим агентством Бонифачо, в ноябре 2015 г. подобная (постерная) выставка была организована и в Москве в ДРЗ.

Письма художницы к другу ее юности П.А. Безсонову использованы писателем В.А. Кавериным в романе «Перед зеркалом».



Лидия Никанорова и Георгий Артемов. Константинополь, 1922, фотография (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция)

Вот как описывает эту фотографию Вениамин Каверин в романе «Перед зеркалом»: «Перед мольбертом, на котором стоял начатый картон, держа кисти в руках, сидел художник, без сомнения, Гордеев, а в центре – серьезная, причесанная на прямой пробор, в свободном, легком платье, оставлявшем голыми руки и шею, ему позировала Лиза. В том, как она держала руки, легко соединив узкие, длинные кисти, в покорности, странно противоречившей гордому повороту головы, в линии шеи, плавно переходящей в плечи, во всем была скромная женственность – ее слабость и сила. И такая же, схваченная несколькими линиями, она была намечена на картоне».

Марина ЛОМОВСКАЯ*, г. Тулуза, Франция*

В НАЧАЛЕ ЖИЗНИ

М.И. Цветаева в письмах П.И. Юркевичу 1908 г. и Л.А. Никанорова в письмах П.А. Безсонову 1910 – 1913 г.г.

Марина Валентиновна Ломовская – автор предлагаемой статьи – много лет собирала материалы о прототипах двух героев романа В. Каверина «Перед зеркалом»: художнице Лидии Никаноровой (1895 – 1938), выведенной в романе под именем Лизы Тураевой и ее муже, художнике Георгии Артемове (1892 – 1965), в романе он назван Георгием Гордеевым. Спустя 40 лет после первой публикации романа («Звезда», №1-2,1971 г.) в той же «Звезде» (№8, 2011 г.) был напечатан ее очерк «Герои Каверина в романе и в жизни». В качестве важных

документов (из личного архива дочери Артемова от второго брака) в состав очерка вошли: Дневник Лидии, который она вела в Константинополе в начале 1920-х годов; ее последние письма мужу 1938 г.; 2 письма к одной из ее французских приятельниц начала 1930-х годов с упоминанием имени Марины Цветаевой – эмиграция свела поэта и художницу в одном из парижских пригородов, где они соседствовали.

И хотя уже раскрыты имена прототипов героев романа и со всей очевидностью стало понятно, насколько значительно писатель обогатил письма дополнительной информацией из различных источников – все еще было неизвестно, что же именно писала Лидия, в частности, о Цветаевой. Опубликованные недавно Мариной Ломовской письма Лидии Никаноровой Павлу Безсонову из Франции в Россию за 10-летие с 1926 по 1935 г.г. («Звезда», №5, 2016 г.) наконец-то доносят до нас прямо, а не косвенно, важные подробности жизни Лидии Никаноровой, ее истинные, а не романные впечатления от Марины Цветаевой.

Имеющиеся в настоящее время в распоряжении автора документы позволяют проводить «сравнительную характеристику» Марины Цветаевой и Лидии Никаноровой еще задолго до их личного знакомства, благо сохранились первые письма Лидии к другу юности с 1910 по 1913 г.г. и совсем юной Марины Цветаевой к Петру Юркевичу 1908 г. Будучи практически ровесницами, обе гимназистки-старшеклассницы затрагивают в письмах много общих тем, со свойственной каждой из них искренностью и смелостью вглядываются в себя и в окружающую их жизнь, пытаются строить свои отношения с другими. На основе их письменных высказываний автором подчеркивается не только то общее, в чем они «совпадают», но отмечаются и различия между ними.

Э.И. Романюк и С.Б. Петрову с признательностью за энтузиазм и поддержку

* * *

Самые ранние письма[1] симбирской, а чуть позже – сарапульской гимназистки Лиды Никаноровой, которой не исполнилось к моменту ее первого послания еще 15 лет[2], заслуживают пристального внимания. Эти письма, хоть им уже больше 100 лет, настолько живые, характерные и искренние, что и Каверин приводит их в романе почти без изменений. Именно – почти: в частности, на первых письмах автор романа проставляет в качестве места их написания «Пермь», тогда как сегодня совершенно очевидно, благодаря недавним разысканиям ульяновских краеведов, обнаруживших учебные ведомости об успехах воспитанницы Симбирской Мариинской гимназии Никаноровой Лидии за 1909 – 1910 г.г., что писались эти письма в Симбирске. Они интересны тем, что дают понять не только где, как, на фоне чего и, главное, чем живет юная Лида Никанорова, но и каковы были предпосылки ее грядущего сближения с Мариной Цветаевой.

Учебные ведомости Симбирской Мариинской гимназии 1909 – 1910 гг. Государственный архив Ульяновской области

Считая, что «бывшее сильней сущего, а наиболее из бывшего бывшее: “детство сильней всего“», восхищавшаяся стихами Б. Пастернака «О детство! Ковш душевной глуби», Цветаева много рассказывает о своем незабвенном детстве в письмах, в прозе, в записных книжках то с подробностями, а то лишь необходимым в контексте штрихом. В «Сводных тетрадях» есть запись про себя восьмилетнюю (то есть событие можно отнести к 1900 году) и свое восприятие окружающей действительности, связанной с гимназией: «Ни одной вещи в жизни я не видела просто, мне – как восьми лет, в приготовительном классе при взгляде на восьмиклассниц – в каждой вещи и за каждой вещью мерещилась – тайна, т. е. ее, вещи, истинная суть. В восьмиклассницах тайны не оказалось, т. е. та простая видимость – бант, длинная юбка, усмешка – и оказалась их сутью – сути не оказалось!».

У гимназистки-пансионерки Лиды Никаноровой, (которая немного младше Марины Цветаевой и, соответственно, лет на 8 моложе тех

1. Письма приводятся в сокращении, по машинописным копиям (РГАЛИ. Ф. 1501 В. А. Каверина. Оп. 2. Ед. хр. 467).
2. На сохранившемся французском удостоверении личности Лидии Никаноровой (Artemoff née Nicanoroff Lydie) 1934 г. указана ее дата рождения 23-3-1895; На учебной ведомости Симбирской Мариинской гимназии указаны те же число и месяц, но год рождения – 1893. Таким образом, возможно, что в момент написания первого письма Лидии было неполных 17 лет.

московских восьмиклассниц), кроме черного банта, белого передника, белой пелеринки на плечах и широко открытых улыбающихся глаз – именно так она выглядела на фотографии тех лет – была тайна: 29 января 1910 г., получив письмо от гимназиста, которому она понравилась на новогоднем балу и который предложил ей переписываться, в первый раз отвечает ему, пытаясь выразить свою суть:

«Павлик!

Только сейчас собралась написать Вам: совершенно не было времени. Прежде всего прошу Вас не называть меня по имени и отчеству, т. к. это может послужить поводом для прекращения нашей переписки. Меня редко кто называет так, и начальница может распечатывать, хотя конечно в наших письмах ничего не может быть такого, что наша начальница нашла бы неприличным, но у нее неприлично уже то, что я переписываюсь с мальчиком (хотите – юношей). Вы пишете, что я просила Вас быть искренним, т.е., как Вы поняли, думать и следить за собой; а мне-то именно этого и не хотелось. Свое мнение о дружбе я также Вам скажу. Прежде всего я не верю, конечно, в вечную дружбу.

А потом в обязанность дружбе полную искренность я не ставлю, т.к. другом или подругой считаю того человека, с которым могу поделиться впечатлениями, чувствами, когда мне это хочется и если этот человек мне сочувствует. Обыкновенно таким человеком бывает тот, с которым есть у меня что-нибудь общее и которому я доверяю. А быть всегда и во всем откровенной я не хочу, так как у каждого есть своя "святая святых". Потом это еще много зависит от характера: человек бывает скрытным или откровенным, а это все мешает быть искренней подругой, самолюбивым и тщеславным. Я никогда не имела "задушевной" подруги. Я со всеми почти бываю в хороших отношениях и потому до известной степени откровенна со всеми. Поближе познакомимся и ближе увидим друг друга, хотя я и так всегда слишком себя показываю: это происходит от того, что я очень часто в себе разбираюсь и очень откровенна и самолюбива. Интересно, почему Вы считаете меня другом? Вы просите меня писать о себе все: что могу, буду с большим удовольствием, но сейчас я как раз не в расположении говорить о себе; напишу в следующем письме. А Вас прошу в свою очередь писать о себе больше. Читаю сейчас несколько книг: "Лекции по русской истории" Ключевского, Вербицкой "Ключи счастья" и дневник Башкирцевой. Прошу Вас о двух последних написать свое мнение, особенно о дневнике, т.к. он меня очень заинтересовал, а Вербицкую только начинаю. Извиняюсь за скучное письмо, но я сейчас не в духе, причину не могу сама объяснить; это часто со мной бывает, т.к. часто задевают мое самолюбие. Извините за почерк и ужасный слог с ошибками. Пишите! Лида. 29 янв. 1910 г.».

П.А. Безсонов – известный математик, профессор, кандидат физико-математических наук

Переписка Лидии Никаноровой и Павла Безсонова продолжалась 25 лет.

Опубликованные впервые 20 лет назад письма Марины Цветаевой[3], (профессорской дочки неполных 16 лет, 2 года как оставшейся к тому времени без матери) к Петру Юркевичу[4], начатые летом 1908 г. на даче Песочная под Тарусой, где она наряду с прогулками, писанием и чтением готовилась к сдаче экзаменов в гимназию М.Г. Брюхоненко, и продолженные осенью в Москве, во многом, часто дословно, перекликаются с «заботами юности» Лиды Никаноровой, дочки небогатого провинциального ротного командира[5]. Вероятней всего – это трудно установить достоверно – Лидия тоже была сиротой без матери, так как в основном в письмах говорится лишь об отце, или, что значительно реже, о «родителях» и брате Леониде и ни разу отдельно о матери.

Юная Лидия (*далее:* **Л**.) жалуется: «я совершенно не умею писать, у меня только выходят бессмысленные отрывки. Но мне так часто хочется высказаться и я хочу Вам писать, сажусь и ничего не выходит». Желая, однако, получать письма почаще, она дает совет: «Если хотите писать мне, то не выбирайте предмета разговора, а пишите, что думаете». (23.04.11).

От юной **Марины** (*далее:* **М**.) ее адресату следует тот же совет: «Вы вчера меня спросили, о чем писать мне. Пишите обо всем, что придет в голову. Право, только такие письма и можно ценить. Впрочем, если неохота писать откровенно – лучше не пишите».

Что касается умения писать, то на это у **М.** не было причины жаловаться: у нее с детства была развита привычка к «многописанию» вообще и дневника в частности, которая, по словам М.Л. Гаспарова, привела «к той редкой производительности, которая осталась у Цветаевой навсегда. <...> для автора это был драгоценный опыт работы над словом, после него для Цветаевой уже не было задач, которые нужно было решать в *слове*, а только такие, которые нужно было решать *с помощью* слова и *по ту сторону слова*».[1]

Л. свойственно постоянное желание «разбираться в себе», то есть ей очень хочется понять и выразить себя. Она замечает, что временами и даже часто бывает «не в настроении», «не в духе», извиняется, что то или иное письмо «было написано в минуту гадкого настроения».

У **М.** «общее место» всех ее писем – «тоска»: «Вы вот вчера удивились, что и у меня бывает тоска. Мне в первую минуту захотелось все обратить в шутку – не люблю я, когда роются в моей душе. А теперь скажу: да, бывает, всегда есть. От нее я бегу к людям, к книгам, даже к выпивке, из-за нее завожу новые знакомства.

Но когда тоска "от перемены мест не меняется" (мне это напоминает алгебру "от перемены мест мно-

3. Марина Цветаева. Письма к П. Юркевичу (1908, 1910). Публ. О.П. Юркевич. Сост, подгот. текста и коммент. Е.И. Лубянниковой и Л. А. Мнухина. Предисл. А.А. Саакянц. Новый мир, 1995, №6.

4. Петр Иванович Юркевич (1889 – 1968).

5. Андрей Николаевич Никаноров (Казань, 1867 – ?).

жителей произведение не меняется“) – дело дрянь, так как выходит, что тоска зависит от себя, а не от окружающего».

Скорее всего, и **Л.,** и **М.**, каждая в отдельности, адекватно выбирают соответствующее слово для обозначения того состояния, от которого предпочли бы избавиться или, по крайней мере, меньше зависеть. Разница между «плохим настроением», которое у большинства людей, спустя небольшое время, обычно проходит, становясь нормальным, хорошим или даже прекрасным, и «тоской» – весьма существенная. И эта тоска, в которой признается **М.** в письмах молодому человеку, в которых есть место и приподнятой революционной романтичности, и склонности к игре и мистификации, и желанию пошутить, никак не рисовка скучающей, не знающей, чем себя занять барышни. «Порой мне бывает страшно, и откуда-то со дна всплывает что-то темное. Мне кажется, что это начало сумасшествия. Впрочем, это шаблонно – все так говорят, и никто не сходит с ума. / Прочтите это письмо еще раз вечером, если хотите меня понять». Адресату совсем не хочется понимать такого рода откровенности, он удивлен, откуда она берет «данные для пессимистического мировоззрения». Цитируя в собственном письме его зачеркнутую фразу, она тем самым дает нам его отношение: «Вот Вам мой взгляд. Понимайте как хотите. Мне совершенно все равно, так как это меня сейчас совершенно не интересует». Под этим она подписывает: «Я это и так знаю, Петя, у меня душа не из носорожьей кожи, я все очень быстро понимаю». К невероятной чувствительности кожи собственной души Цветаева вернется еще не раз, находя соответствия себе только в определенных формах (в дневниках, стихах, письмах), «самых непосредственных формах – самых неформах! – человеческой беззащитности. Голого человека. Нет, ободранного человека (себя)», придет к формуле: «Человек без кожи – вот я».

Л. порицает себя за свой «страшно невыдержанный характер», над которым она «работает, но мало что получается».

М. тоже пытается воспитывать себя: «Вчера в поезде очень хотелось выть, но не стоит давать себе волю. Вы согласны?».

Л. находит, что она слишком «откровенна и самолюбива»: «я уже теперь начинаю получать щелчки с своей прямотой, но хотя и хочу быть менее прямой и откровенной, это мне очень трудно дается».

М. того же мнения о себе: «Вот странно, я Вас так мало знаю и говорю с Вами так откровенно, как с немногими»; «Мне кажется, что я веду с людьми себя непростительно искренно и глупо». Из более позднего письма: «<Я> долго боролась со своим чертовским самолюбием, к<оторо>му никто до сих пор не наносил таких чувствительных ударов, как Вы».

Л. не желает отчитываться за свои проступки тем, кому сама не хочет, ставит себе целью «отвоевать более независимое положение» в семье и в гимназии. Ей кажется совершенно несправедливым возможное наложение запрета старших на ее переписку с другом, тогда как она видит в ней много пользы и не может взять в толк, что в ней плохого.

М., пользуясь полной свободой при отсутствующем или вечно занятом отце, однако с оглядкой на неписанные законы того времени резонно опасается, что переписка с братом ее гимназической одноклассницы может выглядеть в глазах их семьи не так уж невинно: «Слушайте, удобно ли Вам писать на Вас? М. б., лучше на Сонино имя? Для меня-то безразлично, а вот как Вам?»

Л. понимает друга как человека, который «должен советовать, указывать ошибки, особенно старший». Она трогательно признается в одном из писем: «Сейчас у меня так много, чем я должна поделиться с кем-нибудь. Кроме Вас я не нахожу никого. <...>»

М., еще не успев уехать из Орловки – имения Юркевичей в Тульской губернии, где гостила по приглашению одноклассницы Сони и познакомилась там с ее братьями, пытается писать о том же самом стихами:

Когда твердишь: «Жизнь – скука, надо с ней
Кончать, спасаясь от тоски»,
Нет ничего светлей и радостней
Пожатья дружеской руки
<...>
Пусть скажут: «Только безрассудные
Поверят дружеским словам»,
За светлый луч в минуту трудную
От всей души спасибо Вам
И вот теперь скажу уверенно
(Я знаю, между нами – нить):
«О нет, не все еще потеряно,
И есть исход и можно жить!»

Л. признается с обезоруживающей простотой в том же письме: «Вы мне кажетесь хорошим юношей».

М., получив письмо от Понтика, как его звали в семье (что она тут же с радостью подхватила), отвечает всем свойственным ей порывом искренности, восторга и благодарности: «Откровенность за откровенность, Понтик. Хотите знать, какое впечатление у меня осталось от Вашего письма? Оно всецело выразилось в тех нескольких словах, к‹отор›ые вырвались у меня невольно: – «Какой чистый, какой смелый!» <...> Ваш тип – тип смелого, чистого, самоотверженного борца сходит со сцены. От Вас веет чем-то давно прошедшим, милым, светлым. В Вас есть свойство, почти исчезнувшее, – энтузиазм, любовь к мечте». <...> в настоящую минуту я к Вам отношусь очень хорошо, а что будет – не знаю, тогда увидим. Это и не так важно».

Л. резонно предполагает невозможность полного понимания друг друга, особенно в условиях затянувшейся заочности: «Может быть, Вы совсем другое, чем я думаю, но по письмам пока Вы – то. Вы будете совершенно беспристрастны, т. к. тоже не знаете меня».

М. на ту же тему: «Вот я говорю с Вами (это я так для примера беру) и никогда не знаю, серьезно ли Вы говорите или шутя, не могу поручиться за то, что Вы понимаете мое настроение...».

Л. особым способом выделяет ключевое слово, выражающее ее главное желание: «И мне нужно только чтобы вы отвечали мне, п-о-н-и-м-а-л-и меня, и что буду с гордостью думать – у меня есть друг».

М. спустя лет 8, уже в 1916 году, вероятно, полу-

чив какого-то рода привет от того же корреспондента, вежливо благодарит за память письмом. Вспоминая «с умилением» их «полудетскую встречу», она подводит итог («Как мне тогда было грустно! Трагическое отрочество и блаженная юность») не только этой встрече, но и, исходя из своего уже немалого опыта, ярко формулирует основу своих отношений с, как она их называет, «собеседниками», то есть другими людьми: «Долго, долго – с самого моего детства, с тех пор, как я себя помню – мне казалось, что я хочу, чтобы меня любили. Теперь я знаю и говорю каждому: мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это – любовь».

Л. делится с другом своими первыми, но уже нерадостным открытиями: «Знаете, я страшно доверчивая, так верю людям, и это мне часто вредит, но я все-таки верю людям и мне страшно горько бывает, когда мое доверие не оправдывается и им еще пользуются».

М. кажется, что в ее неполные 16 лет у нее тоже есть в прошлом немало печального, когда «каждое “очарование“ влекло за собой неминуемое “разочарование“. А сколько их было!» и уже тогда знает за собой неискоренимую, как показала ее дальнейшая жизнь, черту: «Написала я Вам, кажется, много лишнего, но горе мое в том, что я всегда пересолю – не умею остановиться вовремя».

И, конечно, «пересаливает», и получает отповедь, и отсылает в ответ на нее краткое, напряженно-сдержанное письмо с извинениями, заканчивающееся гордой, приличествующей данной ситуации фразой: «Забудьте эпизод нашего знакомства и не берите на себя труд мне отвечать», про которое позже, после примирения, напишет в следующем письме, что «оно было пошло, дрянно и мелко». Корреспондент же, несмотря на императив «забудьте» и «не берите», не забывает и берется «выяснять отношения».

Ее благодарный, примирительный, и, как все у нее, «из самых недр», ответ не заставил себя долго ждать: «Мне было страшно тяжело эти последние дни. Учиться я совсем не могла. Сначала была обида на Вас, а потом возмущение собой. Правда всегда останется правдой, независимо от того, приятна она или нет. Спасибо Вам за неприятную правду последнего письма. Таких резких “правд“ я еще никогда ни от кого не слыхала, но, мирясь с резкостью формы, я почти совсем согласна с содержанием. <...> Отношусь к Вам как к славному, хорошему товарищу и как у товарища прошу прощения за все».

У **Л.** при ее, как она сама себя судит, доверчивом и непостоянном характере, было немало естественных сомнений в неизвестном ей молодом человеке, про которого она хочет знать «правду»: «Я Вас ведь совершенно не знаю и только догадываюсь по письмам и по припоминаемым разговорам на балу и стараюсь Вас нарисовать себе». И вот, не получая от него ответа в течение, как ей казалось, долгого времени, не может удержаться от упреков: «Правда, Павлик, Вы ужасно жестоко поступили, не ответив на письмо. Я же думала, что виновата во всем я. Я не требую частой переписки, если это невозможно. Я же думала, что нашей переписке конец и винила себя <...> Серьезно говорю, если считаете меня правда другом (по письмам это видно только из обращения), то будем переписываться, если же нет, то лучше бросить, не стоит терять времени на переписку. Но знайте, мне ужасно хочется быть Вашим другом, но сожалений я не требую и не хочу. Вы уже есть мой друг, а я еще Вашим не была. Вы бы знали, сколько хотела бы я сказать Вам <...>; Но одно лишь прошу – будьте правдивы!».

Дружескую переписку и дальнейшее развитие событий **Л.** воображает таким образом: «Вы мне напишите, и я Вам тоже; что невозможно, то будем писать постепенно прибавлять или убавлять <...> и это будет как бы исповедью перед самим собой; в письмах мы можем друг друга порицать и наоборот, что в глаза не всегда сделаешь. <...> Пишите мне чаще – письма составляют единственное для меня удовольствие. <...> Мне страшно интересно, Павлик, узнать Вас поближе, а то даже смешно, переписываемся и не знаем друг друга <...> но я Вас положительно не знаю, и, конечно, фантазирую страшно много. <...>; «Мне очень хочется с Вами увидеться и поговорить; вообще мне хочется очень и очень с Вами сойтись близко, а письмами я едва ли этого достигну»; «Вообще, по-моему, если бы мы были вместе – было бы гораздо лучше». (26.03.11)

М., полная впечатлений от нового знакомства, тоже позволяет себе строить планы на близкое будущее, (что, в частности, послужило причиной последовавшей отповеди): «Потом когда-нибудь в Москве, если будем друзьями, я Вас спрошу одну вещь, к‹отор›ую мне бы хотелось знать. Только не в комнате. Где-нибудь на улице, вечером, а то я совсем не могу разговаривать, когда на меня смотрят».; «Будем ли мы видеться в Москве?»; «Знаете что? Устроим зимой кружок, хотя бы литературный с рефератами по поводу прочитанного и прочим. К этому я стремлюсь из чувства самосохранения: с другими тоска не так страшна, да ‹и› приятно (хотя слово “приятно“ сюда не годится) обмениваться мнениями насчет прочитанного и таким образом проверить стойкость и верность своих убеждений. Как Вы думаете на этот счет? У Вас, верно, есть кто-нибудь, кто бы пожелал участвовать?»; «Папа очень доволен, что я побывала у Вас, и, кажется, ничего не имеет против меня еще когда-нибудь отпустить к Вам»; «Слушайте, Понтик, Вы ничего не имеете против того, чтобы осенью познакомиться с одной нашей знакомой зубоврачихой – разочарованной барыней слегка в декадентском вкусе. У нее всегда бывает много народа, иногда интересного. <...> В свою очередь погляжу на Ваших знакомых, так как, судя по Вашим рассказам, есть среди них интересные».

Тема участия и даже создания кружков актуальна и для **Л.** И не только литературных – ее глубоко интересует общественная жизнь вообще и студенческая в частности: «Напишите, Павлик, о Ваших товарищах, о<б> их идеях и волнениях», она уверена, что «дело-то безусловно есть, да все его по-разному думают исполнять. <...> идеальное общение может быть только в критических моментах. А в спокойное время общество как студентов, так и остальное живет кружками, которые имеют свои цели. А организация этих кружков, по-моему, всецело зависит от каждого из нас. Побольше предприимчивости и дело наладится скоро. <...> Знаете, я с большим бы удовольствием устроила свой кружок! Но к моему большому несчастью этого здесь совершенно невозможно. Ведь я – гимназистка!

А гимназия, хотя и твердит во всех своих педагогических науках давать как можно более широкое развитие индивидуальности, но сама ставит страшно узкие рамки всякой более менее самостоятельной мысли. Меня ужасно тяготит гимназия. В пансионе ждала, ждала конца! А тут опять целый год мучиться! Ведь положительно выросла для гимназической обстановки. Она меня нисколько не интересует, а только возмущает»; «Боже, как хочется жить широко, со смыслом, по своей воле! <...> здесь люди спят, а не живут, кто более-менее люди – едет в столицы, в Казань и учатся, живут» (12.11.11). Узнав, что друг вместе с университетскими товарищами затеяли издавать журнал, она умоляет прислать ей его почитать, клятвенно заверяя, что вернет. «Ваш журнал меня очень интересует, и будь я в Казани, я обязательно стала бы участвовать в нем. Вы бы знали, Павлик, какая здесь тина! Конечно, можно было бы и здесь жить интересно, но крылья мои связаны папой, он совсем других взглядов и не понимает меня» (28.03.12).

Петр Юркевич
Марина Цветаева

Конверт, с написанным рукой Цветаевой адресом П. Юркевича

М. тоже очень тяготилась всеми гимназиями – их было в ее жизни несколько, а они – ею. Об этом времени оставили краткие воспоминания две ее одноклассницы по гимназии фон Дервиз – В. Генерозова (по мужу Перегудова, с которой у **М.** сложились самые доверительно-трогательные и даже нежные отношения) и С. Юркевич (по мужу Липеровская, та самая Соня – сестра Петра Юркевича), а также Т. Астапова, учившаяся вместе с ней в двух старших классах считавшейся «передовой» гимназии М.Г. Брюхоненко. Спустя годы, Цветаева так охарактеризовала ту степень свободы: «Есть хуже затвора, по себе знаю, когда училась в "либеральных" интернатах: "Можешь дойти до писчебумажного магазина "Надежда" но не дальше». Я эти полу-, четверть-свободы! – ненавидела! Дозволенные удовольствия, даже – соизволенные. "Поднадзорное танцевание"» (26.08.1933).

В 1933 году Цветаева в связи с тем, что «сын поступил в школу, значит и я поступила», воздает запоздалую справедливость: «С тоской и благодарностью вспоминаю наши гимназии со "своими словами" ("Расскажите своими словами"). И, вообще, человечные – для человека. У нас могли быть плохие учителя, но у нас не было плохих методов». Через 20 с лишним лет в другой стране все происходит иначе: «Целый день, по идиотскому методу франц<узской> школы, отвожу и привожу, а в перерыве учу с ним наизусть, от чего оба тупеем, ибо оба не дураки, Священную Историю и географию, их пресловутые "résumé", т. е. объединенные скелеты. <...> Растят кретинов, т. е. "общее место" – всего: родины, религии, науки, литературы. Все – готовое: глотай. Или – плюй».

Рассказы всех трех бывших гимназисток-одноклассниц **М.**, написанные по прошествии лет пятидесяти, во многом сходятся. Им запомнилась малообщительная на первых порах, но в то же время «очень живая, экспансивная» и дерзкая «новенькая», перешедшая из предыдущей гимназии («оставаться долго в одной гимназии ей казалось скучным, и она вела себя так, что педагоги старались от нее избавиться» – пишет Т. Астапова), всегда склоненная над книгой или что-то пишущая. «В шестом классе, например, ходил по рукам написанный ею рассказ, она приносила много книг – сборники "Знание", часто звучало имя Максима Горького. <...> Особенно увлекал Степняк-Кравчинский; Андрей Кожухов стал любимым героем. Марина пополняла арсенал "недозволенных" книг. Свою горячую страстность вносила в споры о новых людях Чернышевского, Тургенева, Горького, о жизни в будущем» (вспоминает С. Липеровская).

Перечисляя в анкете 1926 г. «постепенность душевных событий» детства, Цветаева отмечает свою увлеченность того времени: «13, 14, 15 лет – народовольчество, сборники "Знание", "Донская речь". "Политическая экономия" Железнова, стихи Тарасова, 16 лет – разрыв с идейностью, любовь к Сарре Бернар ("Орленок"), взрыв бонапартизма».

По письмам к Петру Юркевичу можно судить, как **М.** в то время еще «сильно бредит революцией». Она ей чудится единственным спасением как от невыносимой скуки и несовершенства окружающей жизни, так и от собственной глубинной тоски, доводящей до, как она сформулирует позже, желания «не быть»: «Иногда, очень часто даже, совсем хочется уйти из жизни – ведь все то же самое. Единственно ради чего стоит жить – революция. Именно возможность близкой революции удерживает меня от самоубийства».

И дальше разглагольствует в свойственном ей в ту пору духе романтической экзальтации: «Подумайте: флаги. Похоронный марш, толпа, смелые лица – какая великолепная картина. Если б знать, что революции не будет – не трудно было бы уйти из жизни. Поглядите на окружающих. <...> неужели это люди? <...> Где же красота, геройство, подвиг? Куда девались герои?».

Едва только прикоснувшись к изучению истории – «неизбывная "борьба классов" наших Потоцких, Алферовских и т.д. либеральных гимназий – совсем без глаз, без лиц, только кучи народа – и все дерутся» и не имея ни малейшего конкретного (прочитанное пока в прок) представления о чреватых страшными бедствиями войнах и революциях – все это еще у нее, увы, впереди – в 1908 году она воистину гневит Бога, восклицая немыслимое: «Если бы война! Как встрепенулась бы жизнь, как засверкала бы! / Тогда можно

жить, тогда можно умереть!». В то время она еще не знала, что многое из написанного – и не только в стихах – сбывается. До стихотворения 1915 года

Я знаю правду! Все прежние правды – прочь!
Не надо людям с людьми на земле бороться.
Смотрите: вечер, смотрите: уж скоро ночь.
О чем – поэты, любовники, полководцы?

...еще 7 лет. До строк, написанных молодому мужу в столь желанную ей в ранней юности пору революции: «Если Бог сделает это чудо – оставит Вас в живых...» и до страшного голода, вследствие которого только, опять же чудом, уцелела ее старшая дочь, а младшая умерла – целое десятилетие. А пока **М.,** разбирая горьковскую «Песню о Марко», написанную, по ее хлестким словам, «когда он еще не был правоверным марксистом», декларирует свое понимание героя и революции: «Он сгорел за свою мечту, за свой порыв. Именно так я понимаю революцию – не как средство наполнения голодных желудков, а как горение за мечту, м. б., такую же призрачную и обманчивую, как дунайская фея». Далее она вступает с маленькую дискуссию с корреспондентом, склоняющимся к более ординарнообтекаемой, столь возвышенной, сколь туманной, цели необходимых преобразований, витавших в воздухе прогнившей империи: «В этом мы наверное с Вами разойдемся. Вы говорите: отдать жизнь за счастье других. Я скажу: отдать жизнь за мечту (к‹отор›ая, может быть, причинит людям вред, впрочем в моем случае и в Вашем это не так)».

Чем старше становится **Л**., тем полнее ее желание понимать и, что еще важнее, участвовать во всем «прогрессивном», что происходит в жизни: «Меня так интересует современная молодежь. Хочется узнать, угадать главные импульсы, которые двигают ее по пути прогресса. Круг моего наблюдения до сих пор был узок. И из своих наблюдений я мало что вынесла; по-моему, современная молодежь удивительно безотчетно живет, (судя по большинству), благодаря чему их жизнь так безалаберна и неинтересна даже для них самих. У меня много знакомых студентов разных университетов, и очень редкие из них сознательно относятся к своей жизни. Может, я и не права, т.к. я заключаю все из своих личных наблюдений Да, большие пробелы чувствуются в нашем образовании. Нужна коренная реформа» (09.05.1913).

Ей хочется быть по-настоящему интеллигентным человеком, и она давно ставит себе задачи: «Нужно заниматься и читать очень, очень много, потому что надо развивать себя. <...> очень мало развита, хотя в сравнении с классом не ниже его стою, а выше» (18.04.10); «Может Вы находите меня малоразвитой, чтобы понять Вас, но, говоря искренне, я гораздо развитее, чем можно судить по письмам, и сверх этого очень чуткая (23.04.11). В гимназии преподают иностранные языки – немецкий и французский, но **Л.** понимает, что эти знания далеки от совершенства, поэтому задумывает с одной одноклассницей, если это им удастся, «учиться за границей, от многих слышали, что там гораздо лучше получаешь образование и кроме изучаемого предмета будешь знать язык иностранный и знакомиться с иностранной жизнью, но все это еще воздушные замки, т. к. определенно ничего не знаем».

У **М.** нет повода подозревать себя в недостаточном развитии – скорее наоборот, и было оно особого рода. Оглядываясь на свое детство в письме к Тесковой от 7 июня 1936 г., Цветаева так себя ту понимает: «я получила столько воспитаний, что должна была выйти... ну просто – морским чудищем! / А главное – росла без матери, т.е. расшибалась обо все углы. (Угловатость (всех росших без матери) во мне осталась. Но – скорей внутренняя. – И сиротство.)». Но и в самые ранние годы материнское воспитание не было обычным: «Мать не воспитывала – испытывала: силу сопротивления, – подастся ли грудная клетка?».

Безграничный мир всеобщей культуры был раскрыт для **М.** с самых ранних лет: «вспоминаю свое детство – тот особый мир французского духа в доме»; «Любимые страны – древняя Греция и Германия»; «Я Францию люблю больше, чем француз, Германию больше, чем немец, Испанию больше, чем испанец и т.д. Каждую народную песню, будь то русская, французская, немецкая, прочая – я неизменно чувствую – моею. Мой интернационал – вечный!». Изучение иностранных языков, помноженное на ее великолепные способности и старание, было предоставлено ей с младенчества: «Первые языки: немецкий и русский, к семи годам – французский». В доме постоянно жили бонны-иностранки, учеба в лозанском французском и фрейбургском немецком интернатах тоже не прошли даром. Т. Астапова отмечает: «Уроки французского и немецкого языка в частных гимназиях велись на высоком уровне, с разбором фольклора и старых классиков. Иностранные языки Цветаева знала прекрасно».

Тем же летом 1908 года **М**. задумывает на будущий год ехать в Париж, приближается время, про которое она позже запишет: «разрыв с идейностью, любовь к Саре Бернар (“Орленок“), взрыв бонапартизма». Весной 1909 г. она обращается к отцу, едва вернувшемуся из заграничной поездки по музейным делам, как вспоминает ее сестра, «с забившимся сердцем: – Папа, я поеду в Париж? / – Поедешь, поедешь...». В Альянс франсез[6] она блистательно окончила летний 3-месячный старший курс «серьезный и увлекательный, с лекциями лучших профессоров» и с экзаменами в Сорбонне. Во взгляде на это событие через 25 лет в письме к В. Буниной (03.11.1934). Цветаева снова подчеркивает свою непохожесть на ровесниц, все еще тяготеющую над ней тогда тоску, связанную с обидой «на недостаточность любви»: «Я не привезла ни одной шляпы, но привезла: настоящий автограф Наполеона (в Революцию – украли знакомые) и настоящий севрский бюст Римского короля. И пуд книг – вместо пуда платьев. И страшную тоску внутри, что какая-то учительница в Alliance Francaise меня мало любила. Вот мой Париж – на полной свободе».

С книгами **М.** неразлучна «чуть лишь из пеленок» – в доме исповедовался культ книги: “О, как мать торопилась, с нотами, с буквами, с “Ундинами“, с “Джейн Эйрами“, с “Антонами Горемыками“, с презрением к физической боли, со Св. Еленой, с одним против всех, с одним – без всех, точно знала, что не успеет». В домашних книжных шкафах располагалась великолепная библиотека, «собранная отцом, матерью, дедом». Никакого ограничения в тратах на необходимые книги **М**. никогда не испытывала.

6. Alliance Francaise — культур.-просветит. ассоциация, основан. в Париже в 1883 г.

В самой поздней автобиографии, подписанной январем 1940 в Голицыне, Цветаева не может не помянуть бывшее, так и оставшееся главным: «Материнское чтение вслух и музыка. Ундина, Рустем и Зораб, Царевна в зелени – из самостоятельно прочитанного. Нело и Патраш. Любимое занятие с четырех лет – чтение, с пяти лет – писание».

Чтобы дать невероятную силу материнского влияния, Цветаева в лирической прозе «Мать и музыка» создает не совсем обычный, даже странный, образ: «Мать поила нас из вскрытой жилы Лирики, как и мы потом, беспощадно вскрыв свою, пытались поить своих детей кровью собственной тоски».

Мать-пеликан, кормящая своих птенцов. Мраморный барельеф. Убежище для паломников, Иль сюр Тет, деп. Восточные Пиренеи, Франция

Здесь, вероятней всего, метафоризировалась легенда, согласно которой птица пеликан в периоды нужды разрывает себе грудь и кормит птенцов своей собственной кровью. Возникла она так давно, когда люди не подозревали, что гнездящиеся взрослые птицы, наклоняя клюв к груди, кормят птенцов принесенной в горловом мешке рыбой. Образ пеликана, кормящего детенышей своей кровью как символ милосердной и самоотверженной родительской любви был популярен в западном христианстве и, что натурально, нашел отражение в искусстве. Цветаева не только могла слышать эту легенду в детстве от матери или узнать в лозанском или фрейбургском интернатах, но также видеть ее художественное воплощение в церкви или на улице. Или позже, например, в Базеле (она была там во время свадебного путешествия) могла обратить внимание на средневековый дом, украшенный барельефом на эту тему.

Круг чтения **Л.,** отчетливо прорисовывающийся в трехлетней переписке 1910 – 1913 гг., довольно широк: «Лекции по русской истории» Ключевского, «Ключи счастья» Вербицкой, рассказы Чехова, «Преступление и наказание» Достоевского, «Пророк русской революции» Мережковского, «Антики» Амфитеатрова, «Записки революционера» Кропоткина, «Дневник русской женщины» Дьяконовой, книги Ибсена, Гамсуна, Белинского, журналы «Современный мир», «Вестник знания», «Русское богатство». **Л**. не так просто раздобывать книги, она пользуется пансионской библиотекой, старается покупать, у кого-то одалживать: «Читала я в деревне порядочно в смысле количества, но подбор книг был скверный, вернее сказать, его не было, т.к. город далеко и книги доставались с огромным трудом. Вообще умственное мое развитие подвигается вперед очень туго и недостаток его сильно ощущается» (09.05.13).

Ее, как она пишет об этом в самом первом письме, «очень заинтересовал» «Дневник» Марии Башкирцевой и ей хочется его обсудить.

Известно, какое особое место занимала эта книга в жизни **М.**: «...Марию Башкирцеву я люблю безумно, безумной любовью. Я целые два года жила тоской о ней. Она для меня так же жива, как я сама» (07.03.1914).

Как «плохое настроение» не сравнимо с «глубинной тоской», так не сопоставимы две степени восприятия – «очень заинтересовал» и «я люблю безумно, безумной любовью». Вот здесь, как сказала бы Цветаева по-немецки, «ist der Hund begraben» («собака зарыта»). **Л.**, при всем ее стремлении к самопознанию, желании стать развитым и образованным человеком, понять свое призвание и найти свой истинный путь в жизни, при ее открытости, благородстве помыслов, смелости была человеком из «мира мер». **М.**, уже только потому, как она читала – не вписывалась «в окаем». Она, читая, не просто воспринимала – она жила в книге, вбирая в себя написанное на самую глубину (или высоту) души с малых лет («Пушкина читаю прямо в грудь и прямо в мозг»), с невероятной любовью и на вечное хранение («Пушкинских “Цыган“ с 7 л<ет> по нынешний день – до страсти»).

Еще в гимназии, как вспоминает С. Липеровская, «к ней обращались за советом, какую книгу прочитать, и она умела подсказать каждому хорошую, интересную книгу. «Читайте “Путешествие маленького Нильса с дикими гусями“ Сельмы Лагерлеф. Вам понравится. Хорошо пишет». Эти «гуси», как и многое другое, долетели в автобиографию 1940 г.: «Из писателей любимые: Сельма Лагерлеф, Зигрид Ундсет, Мэри Вебб». Мальчик Реми не заканчивает свои бесконечные странствия в книге Гектора Мало «Без семьи»(1878), Цветаева приводит его в 1934 г. в свою «Мать и музыку», чтобы передать одно из сильнейших впечатлений раннего детства.

Книги – это «счастье», «верная услада», «жизнь», живое мясо (души!)». «*Вживание* в вещь» и «*сращение* с ней» было такой силы, что требовало отдачи: «в конце концов, любить и не говорить – разорваться». В. Генерозова записала, что **М.** «обладала прекрасной памятью, позволявшей ей быть изумительной пересказчицей прочитанного». Отзывов на любимые книги, косвенных и прямых, много в первом сборнике стихов «Вечерний альбом» 1910 г.: «Как мы читали LICHTENSTEIN; «Памяти Нины Джаваха»; «Сказки Соловьева»; прелестные «неизменившие друзья», как она называет «Книги в красном переплете», где живут Гекк Финн, Том Сойер, принц и нищий.

Нет смысла отмечать огромное количество литературных аллюзий, которыми наполнены письма **М.** Пете Юркевичу с указаниями на источники и без таковых. Стоит только сказать, что за время этого полудетского романа в письмах, который продлился не более трех месяцев, **М.** между занятиями химией и алгеброй на даче прочла книгу Достоевского «Подросток» и ей очень хотелось обсудить эту, на ее взгляд, «глубокую, продуманную» вещь. Она не может удержаться и выписывает цитаты особо понравившихся мест. А уже в московском осеннем письме **М.** делится впечатлением от читаемой книги «Дух времени» Вер-

бицкой – исключительно популярной среди молодежи тех лет.

Что глубоко волнует и **Л.,** и **М.** – это «цель жизни». **Л**. временами явно недовольна собой: «ни ум, ни сердце ничем не заняты, и не могу занять. Ужасно бесцельно живу».

Еще до знакомства с другом, **Л.** уже пыталась найти себе старшего товарища для разрешения трудных вопросов, который бы стал для нее «большим поучающим другом»: «Я друга почему-то всегда искала старше себя, и значительно старше, совершенно даже бессознательно прежде, но потом уже рассуждая. Это, вероятно, происходило вследствие того, что я не могла найти между сверстницами себе подругу, и это происходило от развития моего; маленькая я была много развитей своих подруг». (Без даты, начало 1911 г.). Но стоило ей начать относиться с вниманием к одному из учителей, который ей показался серьезнее, добрее и интереснее других, это привело к разочарованию: «он стал просто-напросто думать, что я бегаю за ним, а это принято в гимназиях, т.е. бегать за учителями, но ведь у меня было совсем другое чувство». Она не стала разуверять ни его самого, ни подруг-гимназисток, «чтобы не отдавать отчет в своих чувствах к нему» – просто перестала проявлять интерес. Посоветоваться, таким образом, не с кем, и она спрашивает друга, ставшего уже студентом: «Скажите мне откровенно, с какой целью вы учитесь и живете, или все в надежде найти смысл жизни? Что делаю я. Правда, ужасно трудно разрешить этот вопрос» (15.11.10).

У **М**.: «Ах, Петя, найти бы только дорогу!»; «Унизительно жить, не зная зачем»; «Ведь вся жизнь – бесконечный ряд “сегодня“, “вчера“ и “завтра“. Чем заполнить жизнь? Ну, укажите мне что-нибудь такое, чем можно было жить всю жизнь».

В. Генерозова отмечает, как сильно **М.** отличалась от других гимназисток: «увлекалась она в тот период нашей жизни не педагогами нашей гимназии, не знаменитыми в то время актерами или же обыкновенными “героями“ романов, что свойственно было большинству наших пансионерок». Ей вторит Т. Астапова: «Цветаева каким-то образом была вне гимназической сферы, вне обычного распорядка. Среди нас она была как экзотическая птица, случайно залетевшая в стайку пернатых северного леса. Кругом движенье, гомон, щебетанье, но у нее иной полет, иной язык».

Тот же мотив «нескрываемой, роковой ни на кого непохожести» звучит в строках писем Цветаевой 1934 г. как к В. Буниной: «У меня не было “подружек“. Когда девушки, пихаясь локтями, хихикали – я вставала и уходила», так и к Наталье Гайдукевич: “Я *никогда* не была настоящей женщиной, и никогда не была настоящим ребенком (всего менее “настоящей девушкой“, которой – просто – никогда не была <...>». Но в соблазне быть или хотя бы побыть «как все», отказавшись от своего призвания, которое «как плеть», от долга, который «повелевает петь», от своего голоса поэта, за который у нее «все остальное взято», от своей судьбы, на которую, как она с годами все больше понимала, была обречена: быть согласной на отреченность, великое мужество, бесстрашие – Цветаева признается в письме к А. Берг в ноябре 1938 г.: «Я всю жизнь завидовала: когда-то – простым «jeunes filles[7]» – с женихами, слезами, приданым и т.д., потом – простым “jeunes femmes[8]“ – с простыми романами или даже без всяких – я всю жизнь завидовала – всем, кто не я <...>». Можно это признание отнести на счет одного из парадоксов Цветаевой, а можно объяснить написанными еще в юности чистосердечными строками «Молитвы» 1909 г.: «Я жажду сразу – всех дорог!» И дальше:

Всего хочу: с душой цыгана
Идти под песни на разбой,
За всех страдать под звук органа
и амазонкой мчаться в бой;

Гадать по звездам в черной башне,
Вести детей вперед, сквозь тень...
Чтоб был легендой – день вчерашний,
Чтоб был безумьем – каждый день!

Люблю и крест, и шелк, и каски,
Моя душа мгновений след...
Ты дал мне детство – лучше сказки
И дай мне смерть – в семнадцать лет!

Строка в письме к Пете Юркевичу, написанная за год до этого стихотворения, является его несомненным предвестником: «Мне страшно хочется умереть рано, пока еще нет стремления вниз, на покой, на отдых». То есть **М**. отдает предпочтение гипотетической смерти перед невозможностью осуществления жизни на такой «высокий лад» и в таком многообразии вариантов, о которой она страстно мечтает и на которую только и может согласиться. Это желание – испытать все на свете на себе, побывать во всех вероятных и невероятных шкурах – сохранилось на долгие годы: «О как бы мне хотелось еще прожить сто жизней (*назад*, не вперед!) чтобы познакомиться со всем, что я знала, глазами увидеть все, что видела – закрыв глаза!» (из письма к Н. Гайдукевич от 01.06.1934).

«Проза жизни» никак не устраивает ни **Л**., ни **М.,** и обе они, как истинные «враги Гимена», которым «в домашней жизни» виделся «один ряд утомительных картин», на данном этапе жизни теоретически отрицают замужество.

Л.: «Думаю, что замужество не что иное, как цепи, особенно для женщины, и я ужасно жалею замужних женщин, конечно, молодых, вся личная жизнь их потеряна, и это судьба всех женщин за редким исключением. Я лично стою против брака, интересно, как Вы?».

Предоставленная самой себе, она размышляет, мечтает, делится своими взглядами: «у меня уж создался известный идеал, и среди той молодежи, где я вращаюсь, воплощения его нет. Если я и влюблюсь в человека не отвечающего моему идеалу, это будет только индукция, ничто другое <...> (26.06.11).

М. в одном из самых первых писем Пете Юркевичу в юмористически-творческом порыве сочиняет диалог из будущей жизни своего корреспондента и его жены, когда он будет «с ярлыком врача или учителя <...> довольным и счастливым “мужем и отцом“». Для такой жизни она чувствует «свою полную непригодность». Поскольку ей легче выразиться «художественно», то она снова в одном из писем рисует сценку: «Ну представьте себе такую встречу. Вы – почтенный учитель гимназии, отец семейства и пр. Я – сорока-

7. Молодым девушкам (фр.)
8. Молодым женщинам (фр.)

летняя дама с солидным супругом. Очаровательно, не правда ли? А самое худшее – это если мы оба не окончательно заснем и при встрече вспомним прошлое. Подумайте, до чего легко свернуться с пути. Момент слабости, отчаяния, минутное увлечение – и расплата на всю жизнь. Нужно быть вечно на страже, как бы не свихнуться».

В. Генерозова вспоминала, как **М.** «возмущалась Наташей Ростовой, вышедшей замуж и превратившейся, по ее словам, из многообещающей девочки в обыкновенную "наседку", ушедшую с головой в житейские мелочи. Уверяла, что в предстоящей ей в будущем личной жизни она будет свободной от пут заурядного семейного быта, отдаваясь целиком работе на революционном и литературном поприщах».

Однако **М.** хочется, чтобы ее разубедили, или по крайней мере, подсказали: «Петя, Вы вот умный, смелый, чистый, скажите – чем нужно жить? <...> Делить порывы на добрые и злые слишком рассудочно и скучно. Выходит какая-то добродетель на постном масле. Выходит так: или постоянно следить за собой, держать себя в своих руках, или жить по голосу сердца, называя добрым то, что искренно <...>».

И **Л.** по-детски наивно пытается получить ответ на вечные вопросы, явно навеянные изучением литературы в гимназии и собственным чтением: «Павлик, как по-Вашему, чувствами лучше жить или рассудком?» (26.03.11).

Ей, с ранних лет оказавшейся в казенных стенах пансиона, где она испытывает «всю тяжесть монастырской жизни», явно не хватает любви, заботы, ласки: «Поговорить не с кем! Стараюсь забыться и не могу; а для этого бегаю несколько раз на дню в семью, живущую здесь, в гимназии, и куда мне запрещено ходить начальством под страхом сбавки поведения, но я все-таки хожу, <...> потому что там тихо, мирно и все такие ласковые».

М., тоже чувствуя себя обделенной семейным теплом и лаской, признается, вернувшись из гостей в Тарусу: «После Вашей семьи мне дома кажется все странным. Как мало у нас смеха, только Ася вносит оживление своими отчаянными выходками. У Вас прямо можно отдохнуть.

Милый Вы, черный Понтик (бывают ли черные, не знаете?) я, наверное, без Вас буду скучать. Здесь решительно не с кем иметь дело, кроме одной моей знакомой – г<оспо>жи химии, но она до того скучна, что пропадает всякая охота иметь с ней дело.

Видите, понемногу впадаю в свой обычный тон, до того не привыкла по-настоящему говорить с людьми.

Как странно все, что делается: сталкиваются люди случайно, обмениваются на ходу мыслями, иногда самыми заветными настроениями и расходятся все-таки чужие и далекие»; Уже в Москве: «Скучно дома. Все какие-то толки, предостережения, намеки. (Папа начитался Санина и выражал Валерии опасение, как бы я не "вступила в гражд‹анский" брак» с каким-нибудь гимназистом, каково?)»; «О, Петя, как тяжело жить одной. Я боюсь одиночества и своей тоски. Бегу ко всем, лишь бы забыться»; «Из гордости не лезу к людям за участием, <...> а сами приласкать не догадаются».

Закончив 7 классов гимназии в пансионе с золотой медалью, **Л.** в полной мере испытывает скуку провинциальной жизни: «Теперь живу на заводе – это захолустье, каких мало, даже библиотеки нет, а об интеллигентных людях и говорить нечего» (10.06.11). Ей очень хочется начать самостоятельную жизнь, она задумывает поступать в восьмой класс в Симбирске и подрабатывать уроками, но, поскольку из-за наплыва учениц ей не хватило места, она жалуется: «Я никогда не думала, во-первых, что буду жить в таком захолустье, как Сарапул, <...> во-вторых, я не думала, что мне придется здесь оставаться еще года на три. <...> Да, как наивна я была в пансионе! Да и где же мне было иной быть, только ведь теперь я начинаю знакомиться с жизнью, а мне казалось, что я ее знаю! Оказалось, что папа совершенно не может меня содержать на курсах. Но у меня есть небольшие деньги, положенные на книжку до совершеннолетия. Этих денег мне хватит только на первый год, но я надеюсь, что в этот год я сумею ориентироваться в Петербурге при помощи каких-то знакомых и буду учиться на свои средства. Ведь учатся же люди таким образом! <...>

А как я здесь скучаю! Совершенно не с кем поговорить по душе, посоветоваться. Все одна! И сколько сомнений является, и только вера в себя успокаивает. Я не могла жить больше надеждами, мечтой о будущем, ведь я так много надеялась и мечтала в пансионе. <...>

Музыка сейчас для меня единственное существенное утешение. Читаю Ибсена и Белинского перечитываю, в восторге от того и другого.

Что нового у Вас в Казани, среди молодежи? Как я Вам завидую, мне так хочется скорее учиться, работать» (12.11.11).

Сдав экзамены и таким образом поступив осенью 1908 года в гимназию М.Г. Брюхоненко, **М.,** как пишет Т. Астапова, «проучилась в ней два года, в 6-м и 7-м (выпускном) классах. Но, пожалуй, вернее было бы сказать: не проучилась, а пробыла в ней два года. Это была ученица совсем особого рода. Не шла к ней ни гимназическая форма, ни тесная школьная парта». **М.,** часто и подолгу отсутствуя в классе, остается дома, где, стараясь не попасться на глаза уходящему в Румянцевский музей отцу, в котором он директорствует, она прячется на чердаке, а после его ухода пишет и переводит в своей комнате.

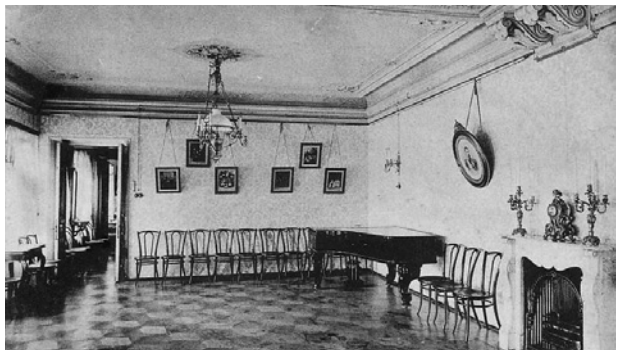
«В 1910 г., еще в гимназии, – пишет Цветаева в «Автобиографии» – издаю свою первую книгу стихов – "Вечерний альбом" – стихи 15, 16, 17 лет – и знакомлюсь с поэтом М. Волошиным, написавшим обо мне первую (если не ошибаюсь) большую статью».

Бывшие соученицы-восьмиклассницы, среди которых уже не было **М.** – она ушла из последнего (педагогического) класса, держа в руках первый сборник стихов Цветаевой, вспоминали «ее вскользь брошенные слова: "Вскоре я вас всех удивлю"». Еще в гимназии **М.** делилась с Валей Генерозовой своими мечтами на будущее, а та запомнила, что **М.** «мечтала стать писательницей, поэтессой и верила в свои способности к этому. Слушая по ночам стихи Марины, которые она читала мне на память, я тоже верила, что она выйдет настоящим поэтом».

Л. в том же возрасте еще совершенно не знает, куда податься, только начинает нащупывать свою стезю: «В гимназии очень скучно, учение я забросила, особенно математику – страшную скуку она на меня наводит. <...> «Раньше я все собиралась на математические курсы, а теперь раздумываю – ведь они мне ничего не дадут. <...> мне ведь перспектива учи-

тельницы нисколько не улыбается – там такая скука и мертвечина».

Достаточно робко – ведь для нее это почти непозволительная роскошь, – но тем не менее определенно отмечает свои способности и тягу к искусству: «Больше всего мне всегда хотелось поучить искусство – у меня порядочные способности по рисованию и к музыке. Но это для мня трудно в материальном отношении. <...> На помощь отца я не рассчитываю: во-первых, он сейчас тоже не может, а, во-вторых, я не хочу, т.к. у меня очень гадкие с ним отношения – мы совершенно разными языками говорим. Теперь мне нужно думать о том, как найти повыгоднее место. <...> Силы и желания у меня много, а знаний нет никаких, т.е. совершенно не знаю, как приложить свою энергию, чтобы добиться желаемого. <...> Я все же не унываю, все на что-то надеюсь! (28.03.12) Эти простые и даже веселые слова говорят о том, что, к счастью, в «дурном расположении духа» **Л.** бывает не часто, что с надеждой и уверенностью в собственные силы смотрит в будущее, которое, как ей кажется, во многом зависит от нее самой. Пожалуй, такие слова и соответствующее настроение **М.** не слишком свойственны.



Интернат Фон-Дервиз

Интернат Алферовской гимназии

Гимназия Брюхоненко

Л. значительно лучше, нежели **М.**, приспособлена к жизни «с ее насущным хлебом», о котором ей уже очень рано самой придется заботиться, у нее больше опыта и умения быть «в хороших отношениях с разными людьми». Возможно, вынужденная долголетняя учеба в пансионе, то есть в постоянном людском окружении, ее больше закалила. Известно, что **М.** осенью 1906 года – через 2 месяца после смерти матери – попросила отца отдать ее в интернат. Может быть, она не только хотела на время покинуть дом, где больше не было матери, но и пыталась расширить круг общения, приблизиться к ровесницам, вступить в новые, известные ей только по книгам отношения. Попытки в основном были неудачные: она не только «расшибалась обо все углы», но выставляла собственные.

После интерната Фон-Дервиз и интерната Алферовской гимназии уже в гимназии Брюхоненко, где она была «приходящей», по воспоминаниям Астаповой, произошел характерный инцидент: «Однажды у Цветаевой появилось небывалое желание стать прилежной ученицей. Придя утром в класс, она уселась на первую парту в среднем ряду, разложила учебники, тетради, ничуть не заботясь о том, что заняла чужое место. Оно принадлежало одной тихонькой, малозаметной девочке. Когда та пришла и растерянно остановилась около своей парты, Цветаева во всеуслышание заявила, что с этого дня будет заниматься по-настоящему, слушать на уроках, записывать и никуда отсюда не уйдет. В классе зашумели, заспорили, девочка чуть не плакала. Со всех сторон послышались упреки, порицания – ничто ни помогало. Цветаева возражала, что на последней парте трудно следить за уроком, что она долго пробыла там и почему-то должна оставаться там навсегда. И в конце концов ее оставили в покое, а огорченную девочку где-то пристроили в сторонке. Как и следовало ожидать, дня через три внезапно нахлынувшее рвение исчезло. Цветаевой не понравилось сидеть слишком близко от кафедры, и, забрав свои книги, она вернулась на свое прежнее место. Инцидент был исчерпан, и все пошло по-старому.

В классе Цветаева держалась особняком. Она присматривалась ко многим, но найти среди нас настоящей подруги не могла. Бывало и так: кто-нибудь из учениц другого класса вызовет в ней восхищение, она начнет ее идеализировать, сближается с ней, но, узнав поближе, разочаруется, отойдет».

Л. живет в большем согласии с миром. Даже не слишком веселый эпизод жизни в деревне она воспринимает как очень полезный: «Время, прожитое в деревне, я действительно не жалею: я приобрела и опыт и знание деревни, хотя и небольшое. Раньше я не имела ни малейшего понятия о деревне. <...> Если Вы не жили в деревне, Вы не можете и представить, до чего невежественен народ; наши усилия (интеллигентов) тщетны. Нужны тысячелетия, чтобы поднять до себя, но ведь и интеллигент будет подниматься вперед, и поэтому равенство невозможно. Поэтому-то я и стою за индивидуализм. Не должно принуждать человека к пожертвованиям собой для другого человека. Интересно, как решаются вопросы, поднятые в вашем кружке? Мне интересно направление» (09.05.13).

М. про себя записала в 1926 году: «В русской деревне не жила никогда». Она жила в доме, про который написала позже: «Ах, весь дом был тайный, весь дом был – тайна!», где сливались "два лейтмотива": Музыка и Музей", где воздух был «не буржуазный, не интеллигентский – рыцарский. Жизнь на высокий лад». По-своему она стремилась к тому же.

Блиц-роман и переписка **М.** с Петром Юркевичем завершилась, стремительно пройдя все отведенные ей стадии: знакомство и несколько дней, проведенных в Орловке; стихи, за которыми на следующий день последовали два длинных письма («Говорила я Вам, Понтик, что буду писать по два раза в день»); получение ответа и снова два больших письмах, вызвавших, судя по сдержанно-сухому вежливому тону следующего письма, прохладно-отрезвляющие наставления адресата; выяснение отношений, примирение и желание сгладить углы («Как часто люди расходятся из-за мелочей. Я рада, что мы с Вами снова в мире, мне не хотелось расходиться с Вами окончательно, потому что Вы – славный. Только и мне трудно будет относиться к Вам доверчиво и откровенно, как раньше. О многом буду молчать, не желая Вас обидеть, о многом – не желая быть обиженной»); переезд с дачи в Москву и еще три письма с сожалением: «Теперь все изменилось. Не то чтобы ссора наша отдалила нас друг от друга, а все-таки есть что-то. Вы и сам, верно, это чувствуете»; состоявшееся свидание с односторонним признанием в чувствах: «Любовь, дружба ли – не все ли равно? Дело не в названии»; последовавшая за этим очередная отповедь адресата (в единственном, чудом сохранившемся черновике) на тему «я вас люблю любовью брата», с преклонением перед ее «сложной, почти гениальной натурой», с пожеланием «возможного счастья на земле»; и еще 3 сошедших на нет письма.

Вероятней всего, адресат не откликнулся как на последние слова: "Пишите, Понтик. Ваша МЦ.", так и на обращения «с требованьем веры / И с просьбой о любви», которые звучат в этих письмах, только такую форму обретут позже – в стихотворении 1913 года.

Комментатор писем резонно отмечает: «Письма и стихи шестнадцатилетней Марины Цветаевой к Петру Юркевичу – это типично цветаевский эпистолярный роман»[9].

Таким образом, эти послания положили начало тому сильному, глубокому, ни на что и ни на кого не похожему письменному потоку различным корреспондентам, про которых она, не получая от них должного отлика, а порой просто никакого, однажды сказала: «Людям нужно другое, чем то, что я могу дать».

Переписка **Л.** с Павлом Безсоновым, то иссякая, то укрепляясь, переходя из одной стадии в другую, сделавшись необходимостью, и все-таки, прекратясь под тяжестью «силы судьбы», продлилась долго – целых 25 лет. Еще в ранней юности, объясняя свое, временами длительное молчание, **Л.** уверяла своего корреспондента в прежних чувствах: «я годами не пишу, не только месяцами, а потом с такой же простотой пишу, как будто мы только недавно виделись. <...> У меня очень часто бывает желание с Вами поговорить, но писать я не большая охотница, при этом у меня мало времени» (28.03.12).

До следующего письма проходит еще год. Обстоятельства таковы, что **Л.** самой приходится зарабатывать на будущую учебу. Она очень хочет получить образование, но по-прежнему не может понять, какое именно: «знаете ли Вы, что я служу в деревне. Да, именно "служу", но служу не по призванию, как ни совестно мне в этом сознаться, а по принуждению, конечно, личному. Мне нужны средства, чтобы учиться, а другого выхода не было, да если и был бы, то получилось бы одно и то же, т.к. у меня сейчас, кроме как учиться, нет никакого призвания. То есть я неправильно выразилась: у меня нет никакого желания служить, в узком смысле этого слова. <...> Хотя бы с грошами, но дала себе слово ехать на будущий год в Питер. Туда я собираюсь на архитектурный. Может, прежде поступлю на Бестужевские, а потом перейду – еще не решила. (29.03.13)

Через полтора месяца, поточнее определившись с планами и возможностями, перед отбытием в Петербург на учебу, **Л.** подводит итог как своего личного короткого жизненного опыта, так и опыта общественной жизни, почерпнутой из наблюдений и – это явно слышится – из газет и споров в кружках молодежи тех лет.

«Осенью я еду на курсы в Питер. Решила пока поступать на Бестужевские на математическое отделение. А потом, может, перейду на архитектурные, т.к. на последние мне и хочется, а поступаю на первые по расчету: боюсь потерять время попусту. <...> Я посвятила этот год музыке. Очень жаль, что мне приходится все бросать и учиться урывками. У меня есть способности к музыке и вообще любовь к искусству. Какое искусство вы предпочитаете?

<...> Я к Вам отношусь очень доверчиво и буду писать откровенно свои взгляды на вещи и факты из жизни петерб. <ургской> молодежи. Если Вы будете делать то же самое, это послужит нам в пользу» (09.05.13).

Два предложения, одно с вопросительным знаком, другое – с восклицательным: «Много я загадываю на будущее время, сумею ли выполнить? Так многому хочется выучиться, многое сделать!» – выразительно заканчивают ранние письма 18-летней Лидии Никаноровой. И как чеховская Надя из расказа «Невеста», которой впереди «рисовалась жизнь новая, широкая, просторная, и эта жизнь, еще неясная, полная тайн, увлекала и манила ее», она «простилась со своими и, живая, веселая, покинула город – как полагала, навсегда».

Отрывки из стихов, записей и писем М.И. Цветаевой приводятся по изданиям:

Цветаева М.И. Собрание сочинений: В 7 т. / Сост., подгот. текста и коммент. А.А. Саакянц и Л.А. Мнухина. – М.: ТЕРРА; Кн. Лавка-РТР, 1997 – 1998.

Цветаева М. Неизданное: Записные книжки: в 2 т., Т.1, 2 / Сост., подгот. текста, проедисл. и примеч. Е.Б. Коркиной и М.Г. Крутиковой. – М: Эллис Лак, 2000 – 2001.

Цветаева М. Неизданное: Сводные тетради / Сост., подгот. текста, предисл. и примеч. Е.Б. Коркиной и И.Д. Шевеленко. – М: Эллис Лак, 1997.

Марина Цветаева. Письма к Анне Тесковой / Сост., подгот. текста и коммент. Л.А. Мнухина. Вступ. ст. А. Главачека. – М.: Мемориальный дом-музей Марины Цветаевой в Болшеве, 2008.

Цветаева М. Письма 1923 – 1927 / Сост., подгот. текста и коммент. Л.А. Мнухина. – М.: Эллис Лак, 2013.

9. Марина Цветаева. Письма 1905-1923. Том 1. Составление и подготовка текста Л.А. Мнухина. М., Эллис Лак, 2012.

Л. Никанорова. Городской пейзаж. Акварель. Турция, начало 1920-х годов (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция)

Л. Никанорова. Медальон с Архангелом. Копия мозаики Кахрие джами (монастырь Хора). Картон, акварель. Турция, начало 1920-х годов (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция).

Турция, начало 20-х годов, фотография (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция).

Г. Артемов. Портрет Л. Никаноровой в Кавказском погребке. Париж, 1923 г. (Коллекция Мари Артемофф-Теста, Франция).

Георгий Артемов и Сандро Минервин за работой над деревянным панно, фотография (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция).

Л. Никанорова и Г. Артемов в Бонифачо, фотография. (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция)

Л. Никанорова. Пейзаж Бонифачо. Начало 1930-х годов (Коллекция Мари Артемофф-Теста, Франция).

Л. Никанорова. Автопортрет, Бонифачо. 1929 г. (Коллекция Мари Артемофф-Теста, Франция).

«Сейчас кончила свой портрет. Вместо «увядающей женщины с букетом осенних цветов», у меня получилась «молодая девушка с весенними цветами»! Своя рука владыка – скосила так лет 20! Но сходства много. И странно – я там себя действительно узнаю юной, даже выражение того времени. Как живопись – довольно свежо и вообще удачно». Из письма с Корсики от 23.10.1929

Бонифачо. Вид на город с яхтой

Бонифачо. Дом Артемовых и цитадель

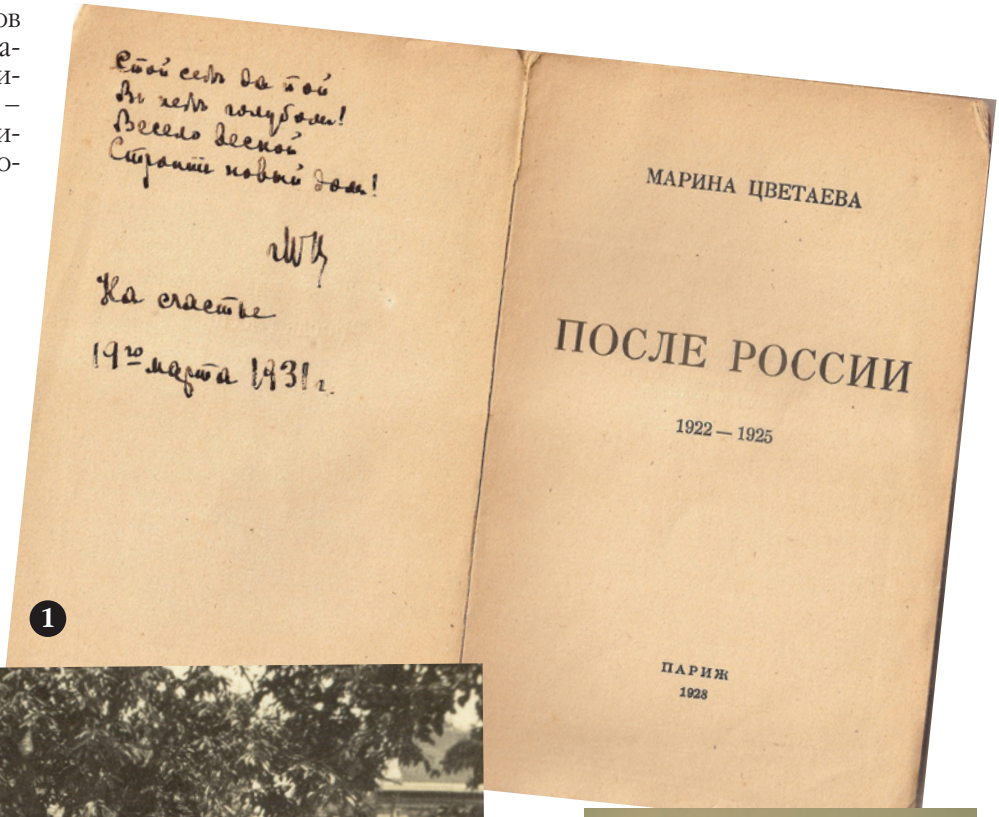
Фото Евгения Ломовского

Л. Никанорова. Пейзажи Бонифачо. Начало 1930-х годов (Коллекция Мари Артемофф-Теста, Франция)

Л. Никанорова и Г. Артемов в Бонифачо, фотография. (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция)

Г. Артемов. Натюрморт с рыбами и газетой «Comœdia». (Коллекция Мари Артемофф-Теста, Франция).
«Я получаю французскую газету «Comœdia». Из письма с Корсики от 29.11.1927.

В начале 30-х годов эмиграция свела поэта Марину Цветаеву и художников Артемовых в Кламаре – одном из парижских пригородов, где они соседствовали.

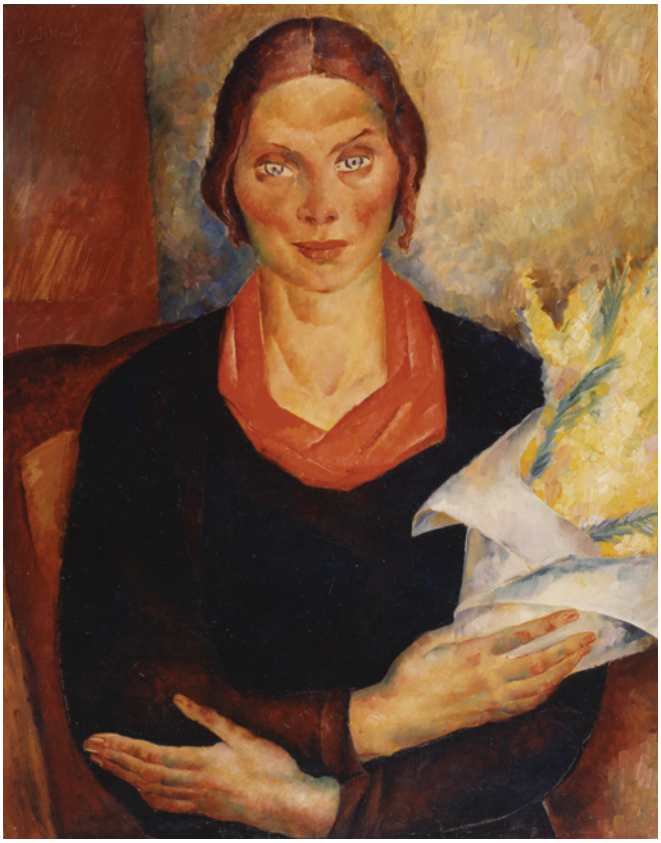


1. М.И. Цветаева. Титульный лист книги «После России». Париж, 1928 с дарственной надписью 19 марта 1931 г. (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция).

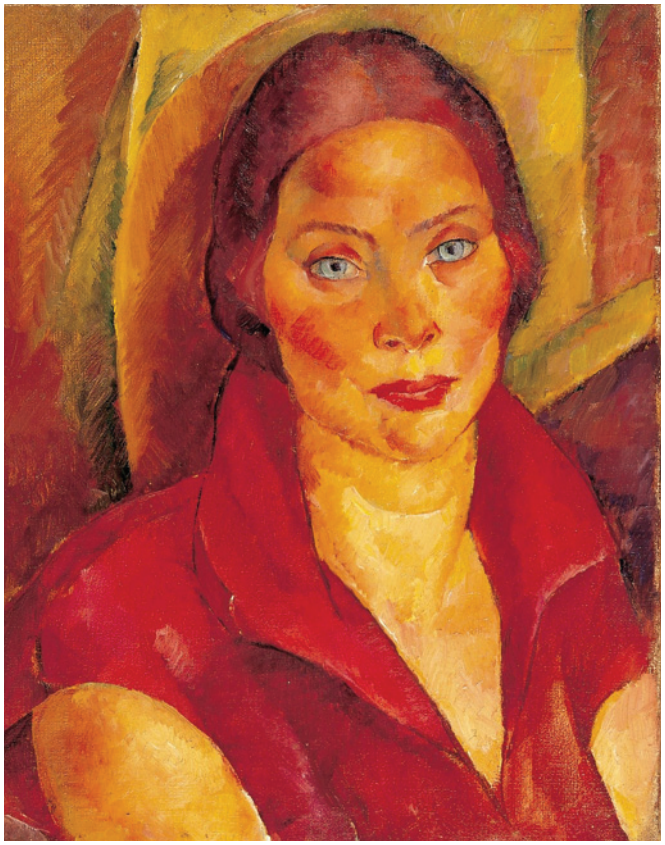
2. Маленький Мур (Георгий Эфрон, сын М. Цветаевой) в садике у Артемовых. Кламар, 1930-е годы, фотография (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция).

3. Л. Никанорова и Г. Артемов с друзьями и собакой. Кламар. Начало 1930-х годов, фотография (Архив Мари Артемофф-Теста, Франция).

4. Г. Артемов. Портрет Марины Цветаевой. Кламар, 1931 г. (Коллекция Мари Артемофф-Теста, Франция). Цв. литография.



Г. Артемов. Лидия с букетом мимозы. Кламар. 1936



Г. Артемов. Лидия в красной блузе. Вилла Ланкастр, лето 1936

Вилла Ланкастр на озере Сен-Ферреоль, департамент Верхняя Гаронна. (Фотография Евгения Ломовского)

Дорога на кладбище, где похоронены Лидия Никаноровa и Георгий Артемов. Водрёй, деп. Верхняя Гаронна, Франция

Надгробный камень на могиле Лидии Никаноровой. Водрёй, деп. Верхняя Гаронна, Франция

Могила Лидии Никаноровой и Георгия Артемова. Водрёй, деп. Верхняя Гаронна, Франция.

Фото Евгения Ломовского